



АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДА

АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ

№ 11 (56), 2017

ОКНА РОСТА
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ
БЮЛЛЕТЕНЮ

DEUTSCH

В этом выпуске о немецком языке, его особенностях, об опыте обучения, общения с иностранными коллегами, написания научных статей, практиках перевода рассказывают **Михаил Бойцов** и **Иван Болдырев**.

Михаил Бойцов,
заместитель декана по науке
факультета гуманитарных наук,
профессор школы исторических
наук, заведующий Научно-учебной
лабораторией медиевистических
исследований

Не могу сказать, что с детства мечтал освоить язык Шиллера и Гейне, хотя дома меня довольно рано обучили чтению немецких слов. Достижение, прямо скажем, не из впечатляющих, если принять во внимание, что в немецком все пишется так же, как произносится. Скорее можно было бы похвастаться тем, что примерно тогда же мне растолковали, как читать фактуру, которую у нас называют «готическим шрифтом». Ведь большой или меньший страх перед «готикой» испытывают не только иностранцы, но и многие немцы из тех, что помоложе. Помню, что читать меня учили по взятому наугад томику Гёте из старого «Майеровского издания классиков». Эта дюжина аккуратных книжечек мерцала с полки золотыми корешками едва ли не в каждой немецкой образованной семье, но в советской квартире рубежа 1960-х и 1970-х годов она выглядела весьма экзотично. Привычка читать фактуру мне очень облегчила жизнь в последующем, ведь **историку, в отличие, скажем, от физика, экономиста или медика, приходится постоянно работать со старой литературой**. Механическое чтение одного слова за другим не означало, однако, что я понимал

прочитанное – до систематических занятий языком дело долго не доходило. Дошло оно только при поступлении на исторический факультет МГУ. Мне тогда казалось, что после окончания не худшей из московских школ я уже достаточно освоил английский и пора заняться другим языком – скорее всего, французским. К счастью, старший друг, умудренный годами и богатым жизненным опытом (он был уже на третьем курсе!), дал мне добрый совет, определивший всю мою судьбу. «Какой бы историей тебе ни доведется впредь заниматься – древней, средневековой или новой, – прозорливо изрек он, – всюду окажется, что важные исследования или справочники написаны по-немецки. Именно за этот язык и стоит взяться в первую очередь: уж он-то пригодится в любом случае». Внять столь авторитетному мнению стоило немедленно, но тут оказалось, что меня уже зачислили в продолжающую английскую группу. Тогда за право учить немецкий пришлось бороться, срочно записавшись на аудиенцию у заведующего кафедрой иностранных языков. Им был не кто-нибудь, а легендарный Е.А. Бонди – в те годы вся страна готовилась к экзаменам по его курсу английского. Когда имя с обложки толстого классического учебника, уже ставшее почти нарицательным, вдруг нисходит из эфирных пространств, обретает плоть, кровь, кабинет под трехзначным номером и приемные часы, в реальность такой теофании трудно поверить: да не разыгрывают ли? Моя первая (и последняя) аудиенция у живой легенды прошла по-английски, поскольку Бонди, очевидно, решил проверить, не стоило бы вскарабкавшемуся к нему на Олимп

свежезачисленному первокурснику сначала подучить первый иностранный язык, прежде чем приниматься за второй. Наверное, с перепугу перед таким экзаменатором я сдал неожиданный экзамен далеко не блестяще, но в конце недолгой беседы на мое заявление все же легла одобрительная резолюция. Приключения на этом, однако, не закончились. Действительно, повеление Бонди тотчас перевело меня в немецкую группу, но, к моему ужасу, почему-то не к начинающим, а к продолжающим. Вместо того чтобы добиваться исправления ошибки, я остался там, где случайно оказался, тем более что занятия начались с повторения основ. Мне повезло с преподавателем: при всей ее внешней суровости она всячески поддерживала мои усилия. Про то поколение немолодых истфаковских преподавательниц немецкого говорили, что все они совершенствовали свои познания то ли на фронте, то ли в партизанских отрядах, допрашивая военнопленных. И якобы некоторые из усвоенных в тех сложных условиях приемов они переносили на занятия с нами. Действительно, проходя вечером по уже затихшему факультетскому коридору, можно было от неожиданности вздрогнуть, услышав из-за закрытой двери аудитории, как лучшая из наших преподавательниц по своему обыкновению вдруг раздражалась громкой и требовательной тирадой. Тут можно было и впрямь подумать, что идет допрос с пристрастием, чреватый скорым расстрелом. Зато именно ее ученики быстрее и лучше остальных осваивали язык.

Хотя учеником я был старательным, даже в своей продолжающей группе довольно быстро стал получать приличные оценки и окончил языковой курс в университете уже вполне благополучно, первая же поездка в ГДР показала, насколько, оказывается, исчезающе малы мои познания в немецком, приобретенные героическими трудами. **Стоило только выйти на платформу берлинского Восточного вокзала и услышать первое же объявление по громкой связи, как стало ясно: изучение языка, по сути дела, только начинается.** Действительно, нужно месяцами жить в стране, притом постоянно общаясь с самыми разными людьми, чтобы начать хотя бы до некоторой степени чувствовать язык. Немцы и австрийцы почему-то никак не хотят разговаривать так, как им следовало бы это делать, если судить по нашим учебникам и даже по их собственной

классической литературе. Писать научные статьи по-немецки – дело тоже не для слабонервных. Добиться той же точности выражения мысли, что на родном языке, иностранцу крайне трудно, и в результате теряются оттенки, нюансы и ассоциации, которые придавали русскому предложению глубину и в отсутствие которых немецкое предложение становится плоским и банальным. А чего стоит хотя бы одна только несправедливость немецких редакторов? Вот ведь пишешь длинную фразу в надежде, что немецкий читатель почувствует что-то родное в бесконечном периоде с какой-нибудь отделяемой приставкой в самом конце, а редактор вдруг начинает морщиться: «Это русское предложение необходимо разбить на три коротких немецких фразы». Оказывается, немцы абсолютно уверены в том, что пишут короткими предложениями, а создателями длинных могут быть только русские. Кто бы мог такое подумать? Откуда они это взяли? Наверняка во всем виноват Лев Толстой, больше никому... В качестве слабого утешения замечу все же, что при всех различиях русское предложение строится в академических публикациях на принципах, которые ближе к принципам построения немецкого высказывания, нежели английского.

Иван Болдырев, **профессор Университета Неймегена**

Все началось с обмана. Странное начало для того, что стало судьбой, не правда ли? Но забыть об этом невозможно.

Я начал учить немецкий язык в школе, в 5-м классе, как «второй». Учили нас по дурным учебникам, которые хоть и были немецкими по происхождению (этим в школе очень гордились), но ничего, кроме скуки, у меня не вызывали. Так что главный человек, которому я обязан знанием немецкого, – это мой отец. В его арсенале родительских представлений о должном (мы обычно знаем, откуда они берутся) немецкий, вероятно, всегда присутствовал, и он настаивал на том, чтобы я за него взялся в 10-м классе, пока меня не отвлекает неизбежное безумие «поступления в вуз». Одна беда – происходило это в 99-м году, когда денег у отца не было совсем, и ему, чтобы реализовать свою мечту, пришлось просто сказать маме (родители к тому моменту уже давно развелись), что он сам найдет преподавателя и заплатит половину, но потом,

потом. Маму, которая в любом другом случае ему, конечно, отказала бы, такая неожиданная щедрость воодушевила: ей важнее была именно солидарность, а не то, на что должны тратиться деньги. Я относился ко всем этим переговорам довольно легкомысленно и в один прекрасный день уже шел с отцом в главное здание МГУ, где мы встречались с «репетитором», приготавливающим меня не к поступлению в университет, а к будущей жизни. Мне казалось, что я все знаю (как-никак, «учился» пять лет), и в разговоре я просто перебирал знакомые мне немецкие слова, быстро и уверенно. Галина Викторовна, преподавательница географического факультета, послушала меня, повздыхала и дала понять, что нужно начинать сначала: моя претенциозная болтовня ничем не отличалась от «моя твоя иди». Мы и начали – с зеленого «Практического курса» Завьяловой и Ильиной, от которого веяло советским ужасом в духе «моя мама работает на заводе» и который в основном состоял из унылых грамматических упражнений и казенных диалогов. Я был вначале несколько обескуражен, но быстро понял, что ГВ права совершенно и что я просто не знаю падежей и вообще не могу составить правильно ни одной фразы. За семь месяцев еженедельных занятий учебник был взят – не знаю уж, осадой или штурмом. Особенно трудно мне давались неадаптированные тексты в конце глав, которые нужно было долго расшифровывать со словарем, но зато как круто было их наконец понимать! В общем, я освоил грамматику (**немецкая грамматика замкнута – у нее есть начало и конец**) и формулы разговорной речи, в школе мне стало существенно легче, но главное – я привязался к немецкому на всю жизнь.

Происхождение такой привязанности, вероятно, много где уже описано, я явно шел по проторенным тропам: немецкий позволял самостоятельно придумывать слова и даже иногда находить им соответствие в настоящем языке! Правда, в огромном бумажном словаре, которым я тогда пользовался, многих слов все равно не было (невозможно вписать туда все мыслимые сочетания приставок и корней), но я все равно находил способы себя проверить – особенно когда потом на месяц поехал в Германию к друзьям и просто дал себе возможность говорить и собирать в уме новые слова из тех немногих частей, которые в немецком для этого предназначены. С тех пор я, в общем, понимаю и чувствую этот

язык – и каких-то радикальных изменений мои знания не претерпели.

Параллельно я начал много читать по-немецки и с тех пор не останавливаюсь. Знание немецкого – непереносимое условие работы в гуманитарных науках, а незнание его – тяжелое ограничение. Отяжести его я сужу не понаслышке: мне не хватило решимости изучить древние языки, это до сих пор мешает. Именно поэтому после школы я немедленно стал изучать и французский.

Отчасти увлечением немецкой словесностью можно объяснить и то, что я занялся историей немецкой мысли, принялся читать романтиков, переводить самые трудные тексты, какие только можно было придумать на этом языке (Жан-Поля или Адорно), и вообще поселился в нем навсегда. Да и диссертация, главный мой философский труд, который я написал по-немецки и вот-вот должен сдать в Берлине, возникла из тех же пристрастий: в ней философ прочитывается как писатель, а диалектическая мысль – как фигура немецкой речи.

Чтение текстов на любом языке – обычный навык, приобретаемый со временем. Похожим образом накапливается переводческий опыт, хотя этому ремеслу нужно учиться активнее. Но вот писать по-немецки – совсем другая задача. Мою первую немецкую статью я написал по-русски, потом она была хорошо переведена, но все равно выглядела как русский текст, состоящий из немецких слов. Потом было еще несколько работ, и их я сочинял уже сразу по-немецки. Мало что доставляло мне такую радость – как будто постепенно учишься подбирать мелодию на слух и сначала промахиваешься, а потом все чаще попадаешь в цель, и вот уже начинаешь слышать музыку, а не бессвязную последовательность звуков.

Нужно ли всем писать по-немецки? Конечно нет. Национальные языки находятся в упадке, их роль в качестве средства научной коммуникации все менее значительна, большинство активных ученых во всех странах давно уже пишут на новой латыни – на английском. Поэтому будущего у такого типа научного производства сейчас нет, если речь не идет о специфических гуманитарных дисциплинах, где национальные традиции еще живы. Но даже в германистике, к которой формально принадлежу и я, очевидны изменения: лучшие германисты либо

постоянно (убежав от косности немецкой академической системы), либо временно преподают в Америке, мой берлинский научный руководитель, будучи приглашенным профессором в Принстоне, сильно усовершенствовал свой английский, а когда мне нужно было напечатать немецкую статью и не было возможности переписывать ее по-английски, кроме журналов по германистике, я ничего не нашел, а в них моя немецкая статья соседствовала с пятью английскими. В общем, что-то происходит, и я бы даже приветствовал эти изменения, ибо зацикленность на национальной аудитории и ревностное хранение некой языковой подлинности редко имеют смысл в науке, а чаще порождают спесь и клановую ограниченность: закрытые академические сообщества обречены, даже если они немецкие или французские.

Но мне было как-то не по себе, когда я представлял, как буду писать по-английски диссертацию о поэтике Гегеля, переводить цитаты, в общем, еще раз совершать невозможное усилие перевода. Его, конечно, все равно придется когда-то совершить, и занятие это благородное, но сил на него тогда у меня не было, легче было научиться писать по-немецки и разговаривать с материалом на одном языке, комментировать и ловить авторов на слове, ничего не переиначивая и не сверяя два мира, а сосредоточившись на познании подобного подобным.

Но мой случай все же особый: я слишком щепетилен. **Обычно немецкие научные тексты написаны ясно и основательно, их легко переводить** (чаще всего сокращая). Впрочем, в каждой дисциплине свой язык, и не всегда он мне нравился. Я, например, без особенного труда преподавал и выступал с докладами по-немецки, но никогда не мог обсуждать экономические сюжеты, меня всегда раздражал смех, когда приходилось оперировать словами вроде Nutzenfunktion или Bruttoinlandprodukt. При этом один мой немецкий коллега говорил, что он совершенно по-разному ощущает свои англоязычные (research) и немецкоязычные (Forschung) ученые занятия, имея в виду, конечно, прикладной, лаконичный и локальный (1 claim per paper) характер первых и «фундаментальность» и междисциплинарную

открытость последних. Не могу сказать, что целиком солидаризируюсь с такой оптикой, но, кажется, подобные различия весьма распространены и не безосновательны.

Немецкая жизнь позволяет не забывать разговорный язык, но едва ли помогает писать. На поэтическом вечере в Берлине Анна Глазова, которая много лет живет в Германии, сказала, что живет она на самом деле в окружении своих русскоязычных читателей, где бы они ни находились, и не очень важно, кто в какой магазин ходит и какие вывески видит на улице. (Не уверен, правда, что это общий опыт, мы говорим только за себя.) Мне помогает писать чтение. Редактируя диссертацию, я вдруг понял, что по-прежнему боюсь не справиться с чужим языком и бессознательно пользуюсь знакомыми формами из Канта или Беньямина, которые писали «правильно». Так текст постоянно сбивается на цитаты, хотя самих цитат там нет. Мне самому не отличить, когда я подражаю, а когда – вдохновляюсь, но часто кажется, что из одного может родиться другое.

Ну и последнее. Текст нужно было вычитать, но кто мог бы это сделать? Когда пишешь на своем языке, принимаешь полную ответственность за собственное косноязычие, за просчеты стиля и осмысленность выбора слов. Но как можно передоверить эту ответственность другому и, главное, на кого ее можно возложить? Любой взгляд будет частным, любой выбор – идиосинкратическим, да и вообще, мало ли мы знаем академических писателей – носителей русского языка, у которых с этим языком что-то явно пошло не так? Нет никакой идеальной инстанции, куда текст можно было бы представить, и смириться с этим я смог, только убедившись еще раз, что точно так же нет и полностью безупречного языка, неважно, родной он у тебя или нет. Достаточно соблюдения минимальных правил грамматики и запрета утомительных повторов, а все остальное должна доделать мысль, если, конечно, она есть. Язык как бы сам организуется вокруг мысли, она ведет его за собой.

Папа так и не выплатил свой долг, теперь уже и некому. Теперь я у него в долгу.

Выпускается НИУ ВШЭ. Редактор Сергей Матвеев.

Материалы подготовлены при участии Владимира Селивёрстова.

Контакты: okna@hse.ru, (495) 772 9590, доб. 12-677. Дата выпуска: 23.11.2017.

Подписаться на рассылку можно здесь: <http://okna.hse.ru/subscribe>